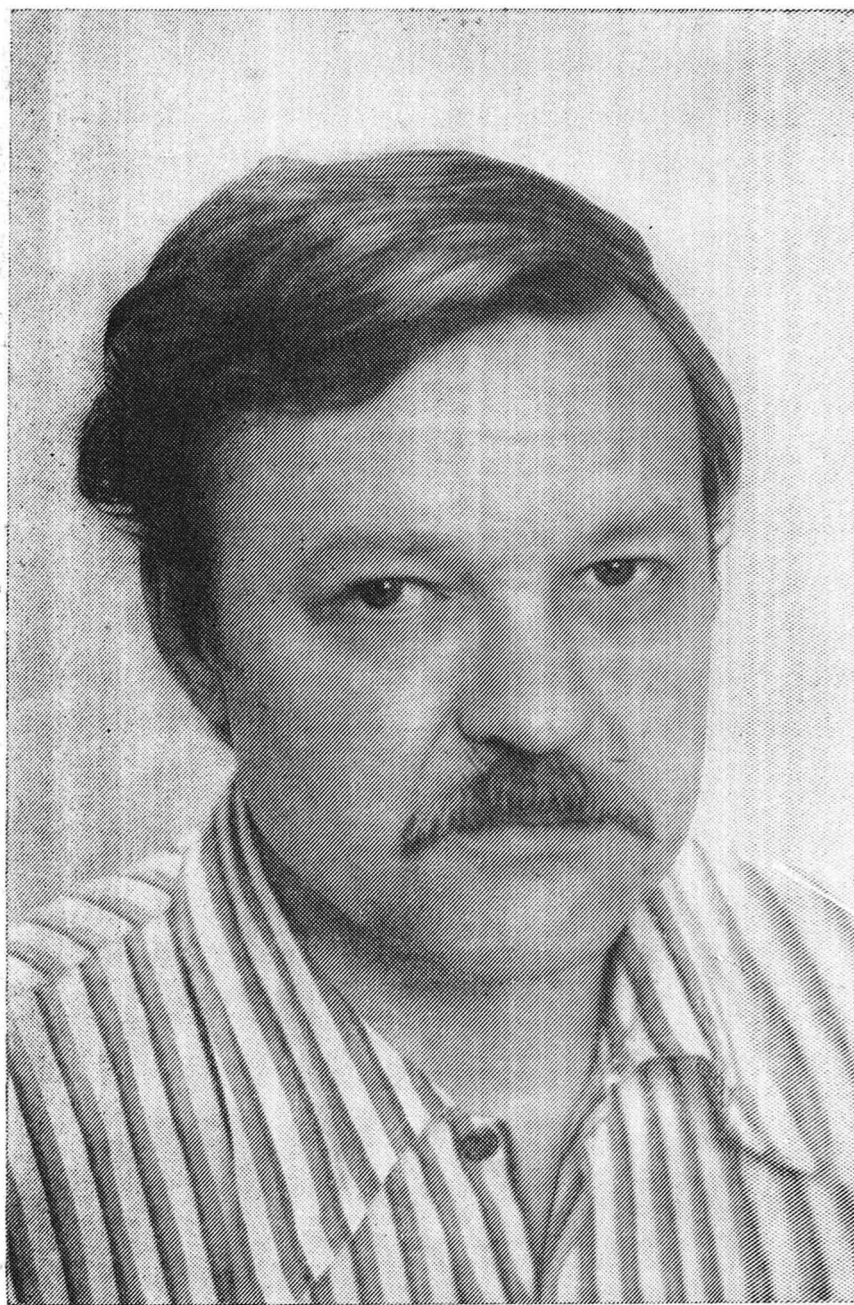


Михаил
Ганин

МАТЮШЕНКО
ОБЕЩАЛ
МОЛЧАТЬ





Михаил
Ганин

МАТЮШЕНКО
ОБЕЩАЛ
МОЛЧАТЬ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1984



Художник Николай Нефедов

Панин М.

П 16 Матюшенко обещал молчать: Повести, рассказы. — Л.: Сов. писатель, 1984. — 304 с.

В новую книгу ленинградского писателя Михаила Панина вошли три повести и рассказы. Героям Михаила Панина присущи внутренняя цельность, нравственная чистота, твердость убеждений. Инженеры, рабочие, колхозники, студенты — все те, о ком пишет Михаил Панин, высоко ценят свою принадлежность к многоликой армии трудовых, честных людей, гордятся своей нужностью родной стране, любят жизнь и ничто человеческое им не чуждо. Добрые люди на доброй щедрой земле — вот основной лейтмотив произведений Михаила Панина.

П $\frac{4702010260-020}{083(02)-84}$ 102—84

ББК 84.Р7

ПОВЕСТИ

МАТЮШЕНКО ОБЕЩАЛ МОЛЧАТЬ



Хочу рассказать о людях, с которыми я работал на Н-ском заводе сельхозмашин. Почему Н-ском, могут задать вопрос, если на заводе делали не гранаты, а самый что ни есть мирный инвентарь: плуги, бороны, лопаты, вилы и топоры. И вообще, что это пошла за мода — скрывать от читателя истинное место действия, тогда как в совсем еще недавнем прошлом, принимаясь за поэму или роман, писатель начинал просто: это было в Одессе или еще в каком культурном центре, а если центр был не очень культурный, внимание к нему печати ускоряло его прогресс. Наконец, почему Н-ском, если ты твердо решил говорить о людях только хорошее, если совершенно плохих людей не видел ни разу, а если и случались у тебя враги, то и среди них большей частью были вполне достойные люди? Почему все же Н-ском, если ты никого не хочешь обижать?

Да потому, читатель, что как бы хорошо мы ни думали о каком-нибудь человеке, мы все же никогда не знаем до конца, насколько он хорош. Напишешь, например, о каком-нибудь старом товарище, что был этот товарищ весьма не глуп, трудолюбив, честен, а в моральном отношении до того устойчив, что ни на одну женщину, кроме своей законной жены, ни разу в жизни в упор не глянул, с работы всегда спешил не куда-нибудь с друзьями выпить, а домой, к семье, к детям. Хорошо напишешь, душевно. А потом получишь от него письмо: «За что ж ты меня, гад, на весь свет позоришь?» А что я такого сказал? Я же хотел как лучше.

Мне было двадцать два года, когда я, закончив институт, приехал работать в этот небольшой южный город. А главному герою моих рассказов, бригадирю заливщиков Ивану Федосеевичу Матюшенко, было в ту пору лет сорок пять, и остальным рабочим из моей смены — за-

ливщикам, сталеварам, вагранщикам, ковшевым — было примерно столько же. Так получилось, наверное, потому, что все они, вернувшись после войны в город, сначала отстраивали этот завод, а когда пустили одним из первых литейный цех, остались в нем работать. Работа с расплавленным металлом притягивает человека как никакое другое дело, и редко кто уходит к другой профессии — так и работают вместе до самой пенсии.

Как мне написать о них, чтобы получилось: не сухая газета, но и не сладкие слюни? И что написать? Как они выполняли-перевыполняли план? Да очень просто: когда это от них зависело, они перевыполняли его каждый день, без всяких призывов. А когда не зависело: не хватало электроэнергии, шихты, ломался допотопный конвейер или еще что — обычные заводские неувязки, — тогда они набрасывались на меня, сменного мастера, крича в два десятка глоток: «Мастер! А шо мы сегодня зарабатываем?! Ты ж холостой, а у нас у всех дети! Детям кушать надо! Каждый день кушать!»

И громче всех кричал мой основной кадр, моя опора, мой неизменный наставник во всех делах, производственных и личных, мой комиссар и конфиденгент — Матюшенко. Крича и напрягая толстенную шею, — «Детям кушать надо!» — он, в общем-то довольный перерывом в работе, доставал из торбы увесистый шмат вареного мяса или колбасы, помидор, величиной с голову, или яблоко и неизменную бутылку домашнего вина, замаскированного под компот. «Детям каждый день кушать надо», — твердил этот демагог, отпивая «компот» прямо из бутылки, и выражение лица у него, когда он при этом оглядывался по сторонам, делалось вороватым. Рядом с ним усаживались где-нибудь под вентилятором сталевар Жора Прядка со своим подручным Пономаревым, заливщики Губанов, Бойко, Моня Шойхет, Витя Бричка... И тоже, поддакивая бригадиру, — «Детям кушать надо!» — доставали свои припасы и тот же пресловутый «компот». Косились в мою сторону — все-таки начальство. «Ты того, мастер, — предлагали, — иди глянь, скоро там железо подвезут, да подгони грузчиков, хай их маме...»

Я шел. Это была моя обязанность — за всем смотреть и всех подгонять, хотя уходить мне ужасно не хотелось, потому что как раз сейчас, когда они закусят, отдохнут, допьют «компот» и глаза у всех заблестят молодым ребячьим блеском, пойдут такие истории, что потом, когда наконец подвезут железо и печи выдадут металл, никого

будет не поднять. Это и есть самое скверное в простых — они расхолаживают людей. Бегаешь кругом, кричишь: «Вы же работу требовали! У вас же дети! Им кушать надо!» А тот же Матюшенко, разморенный, с голым брюхом лежа под вентилятором, повернет лениво голову и скажет:

— Да какая уж теперь работа — два часа осталось. Ты лучше послушай, мастер, шо у нас тут было: года три назад, зимой, нет осенью, выпивали мы раз в курятнике у Сереги Пономарева. . . Или зимой?

— Не, осенью, — качает головой кто-нибудь. — Как же зимой, когда молодое вино пили?

— Точно, осенью! — кивнет и Матюшенко. — Осенью, потому что вот еще что помню: закусывали яблоками и, это, бочка у Сереги еще почти полная была.

Им было по сорок — сорок пять, бравым, норовистым мужикам и отличным, между прочим, производственникам. Если нужно было иногда «вколоть» — в конце месяца, квартала, года, как ведется, — они сутками не уходили из цеха. Бывало, изругают на чем свет стоит всех и вся, но дело сделают наилучшим образом, получают свои «штурмовые» десятки, пятерки, тройки и толпой, могучие в своей рабочей спайке, бредут не торопясь — куда? Да все туда же: в очередной раз отсалютовать мужскому братству.

Я было начал эти рассказы так:

«Однажды бригадир заливщиков Иван Федосеевич Матюшенко, сильный, суровый мужчина с седеющими уже висками, подошел ко мне и сказал: „Товарищ мастер, у меня есть одна задумка, рационализаторское предложение, так сказать. Я все продумал, но надо кое-что сосчитать, а образования у меня всего семь классов — война. . . Самому никак не справиться“. — „Я вам охотно помогу, — сказал я, — вместе и сосчитаем“».

Но потом что-то меня остановило. Хотя ведь так оно и было однажды. Ну, не совсем так. . . Ко мне подошел как-то Матюшенко и говорит:

— Слушай, мастер-ломастер, долго мы с этими драными ковшми мучиться будем — четыре часа сушим, а из него все равно вода течет?!

— А что делать, — говорю, — песок сырой, вон как его дождик поливает.

— А то делать, — говорит Матюшенко, — что давай мы с Брпчкой за неделю навес сделаем, чтобы песок, я

извиняюсь, не мочился. В свободное от работы время. Где материал возьмем — не твое дело, но воровать не будем, возьмем, что под ногами лежит. А ты нам с Бричкой обеспечить по пятьдесят рублей — и подсчитай выгоду. Ты инженер...

Я подсчитал: если песок будет сухой, ковш после набивки и сушить почти не надо, нагреть докрасна и — под металл. Выгода прямая. А то мы, бывало, по два часа стоим и ждем, пока сырой ковш высохнет.

Но где взять сто рублей — в цеховой смете этот расход не предусмотрен. Начальник цеха говорит: «Если твой Матюшенко такой патриот, пусть даром сделает, для общего блага. Что это все за деньги да за деньги — мы людей воспитывать должны».

Я так и передал Матюшенке. Матюшенко подумал немного и вздохнул: «Даром папа маму не целует...» На что начальник цеха сказал: «В общем-то, он прав. Пусть делает навес, а ты ему потом какой-нибудь наряд выпишешь. Какой наряд? Черт знает, чему вас в институтах учат... Посовeturйся с Матюшенко, он знает».

Я так и сделал. Дней через пять мои волонтеры возвели над огромной кучей песка во дворе цеха добротный навес — из досок, всевозможных обрезков и кусков толя, я выписал им наряд, куда вошли следующие работы: аварийный ремонт вагранки, рытье ямы для слива холодного металла, уборка цеха и кое-что по мелочам — набралось точно сто рублей, как и договаривались. Приятели получили деньги и пошли делить. Но, видно, не поделили... На другой день Бричка подал по инстанции жалобу: мол, навес они строили вдвоем, работали одинаково, он только один вечер не вышел — живот болел, а Матюшенко высчитал у него из суммы пятнадцать рублей. И так далее.

Каксй навес? Какне деньги? Кто дал разрешение? Отдел труда и зарплаты поднял шум. Матюшенко быстро умаслил Бричку, дал ему отступного, и они помирились, про них даже в заводской газете написали — рационализаторы, а с меня потом год эти сто рублей высчитывали — я оказался крайний. Матюшенко утешал: «Не печалься, мастер, считай, что ты кладешь деньги на сберкнижку, а как набежит сто рублей, ты их отдашь в фонд мира — ведь отдают же люди и не такие деньги».

А больше никакой рационализации я что-то не припомню — о чем же писать? О том, как Матюшенко восемь

часов в смену разливает по формам металл, каждый день? Тут много не напишешь, если, разумеется, не при-
зрешь. Ну я бы мог, мог, конечно, написать, что Матю-
шенко был такой умный, такой умный, что на каждом
шагу затыкал за пояс профессоров, что он без отрыва
от производства защитил диссертацию — придумал ка-
кой-то новый изотоп, что за высокие показатели в соц-
соревновании его назначили замминистра. Но тогда это
был бы не Матюшенко. Матюшенко замминистром еще
бы и не согласился стать — по той причине, что замми-
nistры выходят на пенсию не когда хотят, по достижении
возраста, а когда их отпустит правительство. А зали-
вщики — ровно в пятьдесят лет! И еще ни одного не за-
держали.

Я хочу рассказать о Матюшенке и его товарищах по
работе, о людях, которых уважаю и люблю. Но как на-
чать? Крутится на уме вот это самое «выпивали в курят-
нике у Сереги Пономарева» и еще две-три Матюшенки-
ных истории. Он был великолепный рассказчик, и кое-что
из его рассказов врезалось мне в память на всю жизнь.
Вот бы написать! Но разве об этом можно? Разве этого
ждет от меня серьезный, ответственный читатель? Ой, не
знаю, ой, не знаю...

И все же решаюсь. А что, думаю, жизнь — много-
образна, план планом, но не одним планом жив Матю-
шенко. Да и все есть в его историях — и трудовые по-
двиги, и соленая шутка, и любовь, а что самое главное:
рассказы Матюшенки — чистая правда, это кто угодно
подтвердит из его друзей-приятелей, а если он и при-
думывал иногда что-нибудь, для перца, то придумывал
так, что даже участники событий божились: все так и
было. И потом сами рассказывали этот случай в Матю-
шенкиной талантливой обработке. Склоняю голову — я
так рассказывать не умею. Я попытаюсь лишь как могу
пересказать эти истории читателю доброму и снисходи-
тельному и, что еще важнее, всегда помнящему, что чело-
век, как бы велик он ни был, поднялся ли он в космос или
опустился на неимоверную морскую глубину, открыл ли
северный и южный полюса или произвел на свет, к удив-
лению всего мира, за один раз пятерых мальчиков и
девочек (живет в Канаде одна такая могучая чета), как
бы высоко он ни забрался — все равно человек этот боль-
шую часть времени, отведенного ему, ходит с нами по
нашей милой грешной земле.

ЕСЛИ УЗНАЕТ МАРИЯ

Итак, выпивали однажды в курятнике у Серёги Пономарева. Стояла черная, как уголь, ночь где-то в середине ноября, но не сырая и промозглая, какими бывают ночи в этих местах перед зимой, а такая тихая и теплая, что сразу не поймешь: осень на дворе или вот-вот зацветут вишни. Знаете, иногда покажется — весной пахнет... И так пахнет, так пахнет, что даже не очень молодому человеку, седому и дождавшемуся уже внуков, выдавшему на своем веку всякие метаморфозы природы и которого, кажись, ничем уже не удивить, даже такому человеку вдруг померещится: в самом деле — весна. И захочется ему выкинуть какую-нибудь молодую штуку.

Сидели кружком прямо на полу, черпали из ведра густую, ну прямо как смола или деготь, прохладную «лидью», а если кто-то задерживал стакан, тот, кому была очередь, становился на колени и делал хороший глоток прямо из ведра. Потом переводил дух и начинал осторожно хрустеть яблоком — боялись снугнуть сонно хлоптавших над головой кур. «Славное вино! — кряхтели. — И черт знает, Серёга, как ты его делаешь! Или какой секрет знаешь, а никому не говоришь? Ну прямо первый раз в жизни пью такое вино, нектар божий. И какой же ты, Серёга, прямо скажем, великолепный молодец...»

Малость лицемерили, конечно, потому что какого только вина не пили на веку — места вокруг виноградные; но ведь и по-другому вроде нельзя: как же не похвалить хозяина за радушный прием, не пролить на его самолюбивую душу сладостный бальзам за расход «такого вина», чтобы он и потом не забывал о них, своих друзьях, чтобы, дай бог, не в последний раз, а как же, не похвалить нельзя. «Умирать будем, — говорили, — вспомним, Серёга, твоё вино. И может такое случиться, что и умирать тогда не захочется, а захочется выпить и дальше жить, и ты, Серёга, на всякий случай всегда держи в резерве ведро-другое этого, можно сказать, не вина, а лекарства».

Оно, правда, есть и такие, которые любое, даже заграничное лекарство обратят себе во вред. (Той же глюкозы если ведро выпить — как?) Так что же тогда, не пользоваться лекарствами? Да и зачем говорить о неумных людях, которые ни в чем не понимают меры и только вредят остальным, возбуждая нездоровое общественное мнение? А если знать меру, если всегда помнить,

что дома тебя ждет семья, если ты не корова, которая не оторвется от воды, пока не нальет брюхо под завязку, если ты челове-ек! — тогда другое дело, совсем другое, и никто тебе дурного слова не скажет, даже собственная жена.

Хорошо говорили. С чувством. Пыхтели сигарками в ожидании, когда до них дойдет стакан, и бдительно следя, чтобы кто-нибудь в темноте не перепутал очередь.

Иногда сверху, где были куры, на кого-нибудь падала густая капля, и это было неудобно главным образом потому, что нельзя было снять шапок. А так — привыкли. Лишь когда раздавался характерный звук, все умолкали и тот, на кого плюхало, вытираясь, говорил: «Что делают, гады...»

Часов в шесть утра Серега, чиркнув спичкой, заглянул в ведро и, слегка придерживаясь за стенку, выбрался из курятника наружу — полез в погреб за новой порцией. И то ли заснул там, возле бочки, то ли еще что, а только компания ждала-ждала его и, потеряв терпение, запела: «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали, товарищ, мы едем далеко, подальше от милой земли...»

Одиноким прохожим, оказавшись он в эту глухую пору возле Серегоиной усадьбы, пожал бы плечами, гадая, откуда это среди ночи такой хор. Ни огонька в хате, а поют. Как баптисты. Но вслушавшись и узнав песню, он, конечно бы, сообразил: нет, это не божьи люди просят прощения у всевышнего за грехи, скорее, тонет в морской пучине боевой корабль и матросы, обнявшись, бесстрашно встречают свой последний час. Чертовщина какая-то: нигде и щелка не светится во всей хате.

Но, постояв бы еще немного у забора, этот прохожий наверняка увидел бы, как в окнах просторной, недавно отстроенной Серегоиной хаты вдруг зажегся огонь и Серегоина жена Мария, накинув ватник и прихватив с собой лопату, осторожно выскользнула из сеней во двор. И еще бы он увидел, какая это решительная и боевая женщина.

А дело было в субботу, под выходной день. Работали в ночь и пошабашили часа в три: кончилась формовка, а ждать, когда наформируют, не было никакого смысла — как раз и кончится смена. Помылись, переоделись в чистое. Вышли на заводской двор. Ночь на дворе — и сказать нельзя, какая ночь: тепло, тихо и чем-то таким тянет от земли сладким, что в голову лезет черт-те что, сказать стыдно, как будто опять, как в молодые годы,

ждешь, а чего ждешь, сам не знаешь, — всего уже дождался.

Вот Матюшенко и говорит Сереге:

— Чуешь, Серега, весной пахнет...

А Серега говорит:

— Как же, пахнет! Почки, вон видишь, какие набрякли на сирени — того и гляди цвет дадут. А потом мороз как вжарит — будет тебе весна. Все к чертовой матери померзнет!

— Так кто ж этого не понимает, — кротко согласился Матюшенко. — Все может быть — природа. Но разве в этом дело? — Тут Матюшенко деликатно покашлял. — Дело в том, Серега, что я живу далеко, а Тимка — еще дальше. А трамваи не ходят. У Брички, сам понимаешь, ни кола ни двора. А ты, Серега, живешь, считай, почти что рядом...

Вся Матюшенкина бригада — еще пять человек — в нерешительности топталась у цеховых ворот, не зная, что им теперь лучше делать: идти по домам, тут поспать, в раздевалке, или еще что. «Еще что» было бы всего лучше, а только где ж его в три часа ночи взять? А ночь...

Но услышав Матюшенкин с Серегой диалог, народ воспрял духом и со всех сторон осторожно стал подступать к Сереге. словно ловили петуха, чтобы сварить его или зажарить. Когда кольцо вокруг надежно сомкнулось, Матюшенко отпустил Серегину руку и, как бы в раздумье оглядывая пустое небо, еще раз объяснил: «Мы все живем далеко, значит, а ты, Серега, живешь близко...»

Серегу Пономарева, прижимистого, крикливого мужика, прозванного куркулем за то, что нес домой любую щепку, кусок проволоки или доску, что попадется под руку, державшегося в стороне от всех компаний и вообще ставившего личные интересы выше общественных, в цеху не любили. Куркуль и куркуль. Люди куда идут после смены: выпить стакан кислого вина, поговорить за жизнь, покритиковать начальство. А этот — дудки! Нагрузит велосипед, как ишака, переправит через забор и везет в свое хозяйство: дом, сад, две временки. Одного винограда двадцать пять кустов. Разве не жлоб? Как только не звали Серегу в глаза и за глаза безземельные, жившие в казенных городских домах, приятели. Хоть бы раз когда позвал в гости! «А вы меня зовете?» — огрызался Серега. «Да как же мы тебя позовем, если ты нас не позвал ни разу? — возражали ему. — И главное, чем же мы тебя угостим таким — живем с базара, а у тебя —

куры, утки, гуси, кабана режешь каждый год. Опять-таки — свое собственное вино. А, Серега?..»

Серега отмалчивался и приглашать в гости товарищей по работе не спешил. И не потому, что был такой уж жадный, он бы пригласил, а просто он очень боялся своей жены. Так боялся, так прочно был у нее под каблуком, что получил за это в цеху еще одну кличку — примак. «Куркуля» и «жлоба» Серега еще кое-как терпел, а вот за «примака» мог и глаза выдрать. Потому что никакой он был не примак, то есть не пришел в дом к жене с одним чемоданом, а сам все построил и возвел своими руками. «Вот этими руками! — кричал, случалось, на весь цех, жилистый, вихрастый, в свои сорок пять похожий на подростка. — Все сам построил! А примак приходит на все готовое!» И не было для него ничего обидней, чем услышать о себе такое слово.

Посмеивались над Серегой, и Серега не жаловал никого, держался независимо, но Ивана Матюшенки слегка побаивался за его длинный язык и, чтобы иметь цехового лидера на своей стороне, изредка приносил ему из дому бутылку вина собственного производства — так, попробовать. Матюшенко — простой, без предрассудков — вино, как правило, тут же выпивал, хвалил Серегу, обещал всемерную поддержку во всех делах, а потом ходил по цеху и всем хвастался, каким славным вином его угостил примак...

Так вот, Матюшенко сказал:

— Мы все живем далеко, а ты, Серега, живешь близко, — и Серега похолодел. Прекрасно сознавая, какая над ним нависла угроза, он пробурчал:

— Ну и что ж с того, что я живу близко, — подхватил с земли свою торбу и попробовал было прорвать кольцо. Не тут-то было. Народ стоял вокруг него плотно, как в давние времена потерпевшие кораблекрушение пираты стояли вокруг лишнего в лодке, которого хоть и жалко, а все же придется съесть, чтобы спасти основную массу.

Матюшенко еще немного подождал, а потом глянул на приятелей, как бы говоря: «Что же это я один даю — вы тоже заинтересованные лица».

Тогда вперед вышел Тимка Губанов и без всяких предисловий сказал:

— До тебя, Серега, идти пять минут, и ты, говорят, на днях открыл бочку...

— Мы всё знаем, — холодно добавил из-за его спины Витя Бричка.

— Понмей совесть, Серега, — сказал еще кто-то. — У него целая бочка стоит, а тут хоть пропади к черту! Вот жлоб!

Вот этого бы и не следовало говорить.

— Пустите меня! — закричал Серега, выдергивая у Матюшенки руку. — Мало ли что у меня стоит! В магазине тоже стоит, так что из того? Никакой бочки я не открывал! А если бы и открыл — какое ваше дело?! Я ж куркуль, жлоб, примак! Другого имени для Сереги у вас нет, а как открыл бочку — пожалуйста, мы живем далеко, а ты живешь близко! Умные нашлись какие! А я тоже не дурак. Ничего у вас не получится. Вот вам, а не вино! — и разъяренный Серега показал приятелям огромную дулю.

Что тут скажешь? Все как по команде озадаченно глянули на Матюшенку, потом на дулю, стыдливо опустили глаза. В чем-то Серега, конечно, был и прав. И в то же время...

И в то же самое время была во всем этом какая-то большая человеческая несправедливость, как сказал потом Матюшенко. Судите сами, кто может правильно судить: три часа ночи, трамваи не ходят, магазины закрыты, хоть разбейся, хоть криком кричи, хоть на коленки падай — ни одна душа не услышит. А в то же самое время, можно сказать — в двух шагах, стоит бочка вина, и не в магазине стоит, кто бы и говорил, если б в магазине — никто не пойдет грабить государство, — стоит бочка в погребе у старого-престарого товарища, однокашника, с которым пришли когда-то вместе из армии, жили по общежитиям, по разным углам, делились последним куском, последней копеей, в одном и том же костюме ходили по очереди к девочкам, крутили любовь; потом женились, каждый в свое время, в счастливый или не очень счастливый час. И уходили из общаги кто куда — в приемы, на частную квартиру, в заводской дом, а кто сам, как вот Серега, брал участок и строил хату, а старые товарищи ему чем могли помогали. Потом пошли дети, побежали годы... И вот кое у кого уже и внуки, и голова в муке, и иной раз в поясицу так вступит, что не дай бог, и лютому врагу не пожелаешь, и каково же видеть после всего, как старый-престарый товарищ, можно сказать, лучший друг, вместо благодар-

ности за дружбу стоит и показывает тебе дулю... Разве не обидно?

Все это, или примерно это, высказал Матюшенко в самых горячих словах Сереге, у самого в горле першило от жалостливых слов, а в глазах два раза блеснула настоящая слеза, так что и дерево бы тут не выдержало, а Серега деревом не был. Он спрятал дулю в карман и сказал:

— Ладно, хлопцы, черт с вами: открыл я бочку... — и вздохнул. — Идемте все ко мне. Только дайте слово, вот на этом самом месте дайте, что больше никогда не будете обзывать меня примаком. Дайте такое слово, хлопцы!

— Мы больше не будем, — заверили его, как один, хлопцы. — Да и когда мы тебя так звали? Никогда. То все тебе на нас набрехали. Или ты нам не веришь? Своим друзьям не веришь? Качать Серегу!

Восемь мощных рук подхватили его, подбросили высоко-высоко, осторожно поймали и, как драгоценный груз, торжественно понесли над головами по центральной аллее к проходной. Серега, вытянув, как гусь, шею, вымученно улыбался с высоты, а потом озабоченно попросил:

— Поверните меня, хлопцы, а то вроде нехорошо получается — ногами вперед...

Его на ходу развернули, как разворачивают на лестничной площадке шкаф, и понесли дальше. Матюшенко замыкал шествие, неся в одной руке свою, в другой Серегину сумки, и, как это полагается бригадиру, покрикивал:

— Осторожно! Осторожно! Не уроните товарища. А то не дай бог обидится, что тогда делать будем.

За проходной Серегу поставили на землю, но сумку ему Матюшенко не отдал; хоть и тяжелая сумка (Матюшенко заглянул: два огнеупорных кирпича, моток медной проволоки и кусок асбеста), а все же так спокойней — не убежит. Серега тем временем, идя в плотном окружении товарищей, уже проклинал себя, и в уме у него сама собой выстраивалась такая бухгалтерия: вот ведет он к себе домой пять душ... И в каждую душу, думай не думай, полведра влезет. Теперь, если умножить все на шесть (ну да, на шесть, а он что, лысый?) или, пользуясь другим правилом, сложить все вместе, то получится...

Тут Серега замедлил шаг. Получалось, что он добровольно вел к себе домой небольшую банду грабителей.

— Да что ты, Серега, в самом деле, — подтолкнули его, — как барышня жмешься, идти так идти, раз реши-ли. Уже близко.

Серега пошел, все так же автоматически складывая в уме и умножая цифры. Если узнает Мария, жена... Но об этом было жутко думать, и Серега стал думать иначе: все не так страшно, он преувеличивает. Полведра на душу, хотя они и могут, как говорится, кто ж им даст... То есть полведра — это если теоретически, а если практически, тогда, считай, меньше в два раза. Серега опять умножил на шесть урезанную вдвое норму — получалось и впрямь меньше. И все же получалось: ведра полтора-два уйдет. Чистый минус. Если узнает Мария...

И все же Серега придумал выход.

— Я вот сейчас иду и думаю, хлопцы, — беззаботно начал он, — представьте себе, что сейчас на дворе не ночь, а день. И идем мы с вами не ко мне домой, а на базар или в ту будку, что возле мясокомбината, кислое вино пить.

Представить такое было нетрудно, но хлопцы насто-рожились: куда этот чертов жлоб дело клонит? А Серега продолжал:

— Значит, идем мы это на базар или еще куда кис-ляк пить, и я так думаю, пропили бы мы с вами рубля так по два...

— Не-е, — сказал ему на это Матюшенко. — Ты что, Серега? По рублю. Мы ж не с получки и не с аванса. Что мы тебе, капиталисты?

— А кто говорит, что с получки или с аванса? С по-лучки или аванса разве по два рубля? С получки...

— Не-е, — опять сказал Матюшенко. — По рублю. Остановимся на этой цифре. А ну вытягивайте, хлопцы, ваши капиталы.

И все принялись рыться в карманах, в кошельках, счита-ть гривенники и пятаки, поднося их к самым глазам. И так, не останавливаясь, бренчали мелочью, как стадо коров подвешенными к шее бляшками, когда их гонят на водопой. Собрали пять рублей или около той суммы и высыпали все Сереге в карман — он даже согнулся на тот бок.

— Тут все точно, — сказали. — А если и ошибся кто, что ж делать: так темно, что не отличить гривенник от копейки, и если обнаружишь недостачу, то мы тебе с по-лучки отдадим.